

Ксения Драгунская



Туда
нельзя

Интересное время

Ксения Драгунская

**Туда нельзя. Четыре истории
с эпилогом и приложением**

«Издательство АСТ»

2021

Драгунская К. В.

Туда нельзя. Четыре истории с эпилогом и приложением /
К. В. Драгунская — «Издательство АСТ», 2021 — (Интересное
время)

ISBN 978-5-96-912087-7

Туда нельзя? Может, оно и так. Однако в жизни всех героев нового романа Ксении Драгунской однажды случится озеро. Будет оно так велико, что каждый даст ему свое имя. Все дороги, как бы ни петляли по жизни, обязательно сойдутся к его берегам, и всякий мужчина в кризисной ситуации найдет ответ и спасение в Странноприимном Огороде – переживет, перетерпит, пополнит иссякшие силы и вернет способность двигаться дальше. И да хранит его Блаженный Пролетарий.

ISBN 978-5-96-912087-7

© Драгунская К. В., 2021
© Издательство АСТ, 2021

Содержание

История первая. Странноприимный Огород Амор Каритас	6
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Ксения Драгунская

Туда нельзя: четыре истории с эпилогом и приложением

Художественное электронное издание

Фотограф Игорь Смирнов
На фото актер Талгат Баталов

© Драгунская К. В., 2021

© «Время», 2021



История первая. Странноприимный Огород Амор Каритас

«Не старайся, не запомнишь. Что лоб нахмурил? Всякие приходили и звали по-своему каждый раз. Как хочешь, так и зови, мне привычно. Ты зачем здесь? Чего выводываешь? Спросить ведь пришел. Молчишь, а я слышу, что спросить хочешь.

Я много чего помню.

Что рассказать? Почему соседнее болото Полон называется? Или про барина, что в лодочке с вереском в руке насмерть уснул? Про самолет немецкий на дне, про жидоморов или про Блаженного Пролетария? Про оккупацию? Или про мелиорацию? Вижу, ты слушать умеешь... Ну, что стоишь? Заходи, коль уж пришел».

И горожанин, дачник, бледнотелый и нагой, оглянулся на уходящий вверх луг в рассветном тумане, на дом с шоколадной крышей и пошел в озеро...



Лучшие умы человечества летят повидаться, подумать сообща, как победить страшные болезни, ненависть, нищету, сохранить планету, дать всем работу...

И переводчики тоже летят и, нагладив белые рубашки, устраиваются в тесных кабинах, пьют воду, пробуют микрофон, отверзают свои усталые уста...

И родные, разделенные океанами и пустынями, летят, чтобы успеть обняться на земле, на этом свете...

И музыканты тоже летят, ведь музыка должна украшать мир, умягчать сердца и примирять всех со всеми.

Пассажир вышел из самолета, пробил паспорт, и вот он уже не пассажир, а гость, интурист, чужестранец, командировочный, гастролер...

Терминал огромный, новехонький... Все такое большое, а народу мало.

Так, первым делом – в сортир.

Ух ты... Направо мужицкий, налево бабский, а посередине – общий длиннющий холл с множеством домофонов и зеркалами от пола до потолка.

Выходит, мужики и бабы должны вместе начепуриваться и прохаркиваться?

Европа.

Страна, известная своими демократическими традициями.

Тихо играла задумчивая музыка, кругом зеркала, и пожилая индианка в бирюзовом сари не спеша расчесывала длинные волосы, во всех зеркалах отражаясь.

Это было странно, как будто не жизнь, а какой-то фильм.

Бывший пассажир вошел в мужскую уборную и остановился резко, чемоданчик больно стукнул колесами сзади по башмакам.

Там была пеленальная комната.

Это в смысле, что мужик может один с младенцем? Путешествовать? Перепеленать, если что. Ну, сейчас не пеленает никто, памперс там, то-сё... Мужик один может с младенцем. А мать где? Так, ладно... Открыл дверь – просторно и чисто, столик, раковина, навалом влажных салфеток, пахнет чистотой и так... Пахнет как бы в смысле, что все нормально, спокойно, что мужик с младенцем долетят, доберутся куда надо... Хорошая такая пеленальная комната...

То, что много лет старался забыть, что выжигал из памяти – алкоголем, сексом, работой, – оказалось живехонько и так больно заколотилось теперь внутри, где-то там, посерединке, что прижал ладонь к горлу, прислонился к прохладной стене... Негритос в аэропортовской спецовке заглянул в лицо: «Ар ю окей?» – «Сэнк ю, мерси». Чуть не забыл, зачем пришел.

Мыл руки в огромном холле. Играла красивая задумчивая музыка, как в грустном фильме с хорошим концом. Индианка все еще расчесывалась. Вспомнил, что индейцы вроде цыган, а уж индианки и подавно. Чуть не спросил: бабушка, погадай, может, что хорошее скажешь? Их отражения встретились взглядами в огромном зеркале, и она ласково улыбнулась, кивнула, прикрыв фиолетовые глаза.

«Все будет хорошо, надо потерпеть...»

Потерпеть... всю жизнь уже не прожил, а протерпел...

Нарисовался шустрик Ризя, Резниченко, «старшой» на этих гастролях. «Ты чего такой? С лицом что? Укачало? Давай побллой и не тормози, уже звонили, автобус ждет...»

И пока автобус, груженный прилетевшими музыкантами, крутился под эстакадами arrival/departure, он все оглядывался на сияющее в светлых весенних сумерках здание терминала.

Пеленальная комната. В мужской уборной.



– Наташа. Наташа. Наташа. Не ори. Не ори. Не ори. Ты орать звонишь? Дай мне сказать. Короче. Прилетаем в Парижик. Всё чики-пыки. Идем устриц поест как люди. А к сифудам положено белое сухое вино, чтобы не было белкового отравления. Сухенькое. И всё. Полетел наш голубь. Профилактику от белкового отравления проводить. Уже без всяких устриц. Вот я как знал... Мне еще на прилете в сортире его рожа не понравилась... В самолете нормальный был, а после сортира – на таких, блин, сложных щах... Как с катушек съехал. Каштаны прошлогодние подбирал с мостовой – они, видите ли, красивые... Чуть под машину не попал... А когда городовые подошли, кричал: «Вив любёффы!» Там пацан какой-то на мосту, нелегал из Румынии, попрошайка со щенком, так он и щенка целовал, и пацана, по сто евро им в шляпу кидал... Жуть крошечная...

На второй день нас уже стало напрягать. Поняли, что играть не сможет. Замену нашли... Как вспомнишь – так вздрогнешь. На третий день мы тебе позвонили, помнишь? Помнишь? Ты же отклоняла. Потом эсэмэс кинула. Ты эсэмэс свой помнишь? «Не лезьте ко мне, чикайтесь сами». На пятый день нам улетать, а на руках тело. Труп. Знаешь, все хорошие, когда трезвые и далеко. А рядом и в запое уже как-то не очень. Угу... Не знаю. Неинтересно. Ну что, в самолет его тащить в невменозе полном, позориться? Взяли тело, переместили по дешевке в китайский квартал в гостишку, кредитки, паспорт, мобильный в сейфе заперли... Очухается же когда-нибудь, переломается. Ну, в крайнем случае – нет. Там хорошее русское кладбище. Вот не надо, а? Предательство – это когда звонки отклоняют. Да, Наташ, да. И когда своих коллег и родину позорят, тоже, кстати. Что ему дома не бухается? По месту постоянной регистрации?

Не ори. Дай мне сказать. Все улетели, а я с ним остался. Врача русского нашел, с капельницей, в гостишку вызывал. Сраму натерпелся, денег потратил... Ты же даже не позвонила ни разу...

Я уже оттуда через знакомых нарыл бабу одну, у нее в деревне, в глуши, какой-то частный ЛТП. Передержка. Ну как приют собачий, но вместо псов – мужики. Реабилитационный центр для мужчин в кризисной ситуации. Дотащил как-то до Москвы и туда отвез. К бабе. Он там. Ну мало ли... Нет, бесплатно. Может, там хозяйство, пашут на бабу эту, а может, бордель. Гы-гы-гы... Не ищи, не найдешь. Вот если он сам захочет, он тебе позвонит. Все. Все, ладно? Я

кровь сдал. Мне эта командировочка до остатних дней сниться будет... Все, пробка поехала, пробка поехала, давай, пока-пока, целую, пробка поехала-пока-пока-целую-целую-отбой...

Ой, блин, как заколебали вы все, друзьятки...



В просторной чистой и пустой избе три окна, непокрытый деревянный стол и большая плазма. За столом друг напротив друга сидят собеседник (облезлый, вылинявший, истерзанный запоем человек, тот, что в аэропорту в пеленальную комнату заглядывал) и собеседница – женщина неопределенного возраста, в тубетеечке и стеганой куртке, похожей на ватник. На пустом столе глиняная миска огурцов. Оба едят огурцы. Женщина так и хрустит, один за одним, человек жует не спеша.

– Хорошо, – говорит женщина. – Что вы любите, я поняла. Это здорово. Я тоже многое люблю из того, что и вы. Теперь расскажите, что вы ненавидите, что может вас выбесить. Вот прямо чтобы «бесишь, сука».

– Выбесить? Да многое. Долго говорить. Не люблю, когда на часах без тринадцати минут два. Вот как увижу тринадцать часов сорок семь минут – с души воротит. Тяжелое нести не люблю, конечно. Посуду мыть. Не люблю, что мужчина по определению всем должен. Ханжей терпеть не могу. И чванливых тоже. Знаете, кто с тобой в одной общаге макароны жрал, а теперь не здороваётся, потому что у тебя автомобиль не той марки... Не люблю, если у кого фамилия на «Ко». Мне от них один гемор и мучения... Почему вы смеетесь? Вы не на «Ко», случайно?

– Я на «Че». Смеюсь, потому что мне кажется, мы подружимся... А у вас-то откуда такая чудная фамилия?

– Не знаю... – (Ему ужасно надоело, что все прикалываются над его фамилией. Сейчас-то еще ничего, а в детстве и юности вообще беда.) – Не знаю. Может, кто-то из моих предков с какой-то царевной набедокурил, а может, так... Царевны какой-то пес, или конь, или шут гороховый...

– Хорошо, – кивнула она.

– Хорошо?

– Во всяком случае, пока ничего плохого. Теперь я задам вам три вопроса. Если вы не можете или не хотите отвечать на все три, выберите один и ответьте. Только честно. Что могло бы вас исцелить? Что для вас больнее всего? И ради чего или кого вы готовы на все?

Долгая пауза. Человек смотрел на ватник своей собеседницы. Моргал. То казалось, что это простецкий ватник, то вдруг – что дорогушая вещь, из тонкого материала, с едва различимым вышитым узором, а на узоре огурцы и лягушки. Еще поморгал глазами. Да ладно, какие огурцы, какие узоры – обыкновенная стеганая куртка, почти ватник.

– Ручка есть? – спросил человек. – Листок?

– Нету. Я же не записываю, просто разговариваем.

– Что, прямо в целом доме нет листка бумаги?

– Зачем мне, я и так все помню.

Собеседник оглядел избу. Стол и миска с огурцами, а по стенам – плазма и карты: Народной Республики Болгарии, транспорта Манхэттена, Москвы 1913 года, атлас грибов Российской Федерации. Еще график какой-то, от руки.

– Странно. Такая культурная изба, а ни карандаша, ни листочка.

– Да тоже мне проблема! – Она взялась за мобильник. – Сейчас нам всё принесут.

– Не надо.

– Почему?

– Потому что, пока будут нести, я уже передумаю.

– То есть? Этот ответ на вопрос перестанет быть актуальным, пока несут бумагу и карандаш? Или вы передумаете отвечать вообще?

– Блль... Блин. Извините.

– Ничего страшного.

Пауза.

– Ладонь дайте. Что? Боитесь, по запястью полосну и дёру? Не полосну. Нечем...

– Да нате ладонь, тоже мне напугали...

Она протянула через стол руку, и пальцем у нее на ладони он написал слово. Она поняла. Быстро и пристально, цепко поглядели друг на друга, но он опустил глаза, спрятал; она еще смотрела на его серое, измученное пьянкой лицо, на редущие каштановые с проседью волосы.

– Это правда?

– В смысле?

– Вы не можете даже произнести это слово вслух? Так болит?

– Сука, бесишь!

Тут же осекся и съехался, провел ладонью по лицу сверху вниз, сказал тихо:

– Извините.

– Ничего. – Она смотрела на него грустно. – Все хорошо.

– Что хорошо-то?

– Вы приняты. Сейчас вас проводят в вашу избу. Познакомят с соседями. Выдадут сапоги и ватник.

В избе, куда привели, было натоплено и вкусно пахло щами. Толстый дядька в линялой ковбойке протянул руку:

– Белогнутов Андрей Михайлович, дежурный по вашей светлости. А ты Царевнин, знаю уж. Ну и фамилия... Счас суп есть будешь.

От глиняной миски пахло изумительно, да и есть уже захотелось – почти неделю ничего не ел, пока «болел», потом отходил от «болезни».

А как прихватиться? Руки гуляли капитально – ни ложку до рта донести, ни миску взять, чтобы выхлебать.

– Смотри-ка, что делается! – кивнул за окно Белогнутов.

Царевнин повернулся к окошку. Ничего особенного не происходило, у ворот прищвартовалась машина «рено» типа «дастер», вышла полная немолодая блондинка, покрашенная густо. Про себя Царевнин тут же прозвал ее Гастроном.

– Ты ешь, а я на подмогу, – сказал Белогнутов, надевая ватник. – Ешь, говорю, приду – проверю!

Царевнин осмотрелся – поди, камер повешено... А и хрен бы с ним... Наклонился и выхлебал, вылакал щи, как барбос, зубами подцепляя куски мяса. В животе стало тепло и на душе чуть получше.

Царевнин посмотрел в окошко.

Там показывали немое драматическое кино: Гастроном, активно и сердито жестикулируя, наступала на мелкого, тщедушного, но очень прямого паренька со стрижкой каре. Паренек пятился, но ничего не говорил – держался прямо и молчал. Аршин проглотил и воды в рот набрал, одновременно. Гастроном ругалась, наверное, матом, а из открытого «Рено-Дастера» громко радовали слух песни Стаса Михайлова. Подошел толстяк Белогнутов, спрятал мелкого паренька себе за спину и стал что-то говорить Гастроному, отчего златозубая дама и вовсе осатанела и принялась махать кулаками у широкого, щекасто-очкастого лица Белогнутова. В машине Стас Михайлов сменился Таней Булановой. Подошел очень высокий белесый малый и долгой рукой с огромной ладонью обнял и Белогнутова, и мелкого. Царевнину понравилось, что мужики так стоят друг за друга. Они поорали немного, и Гастроном села в машину, яростно

шарахнула дверью и увезла прочь жалобные плачи Тани Булановой. Осанистый паренек со стрижкой каре повернулся по-другому, и Царевнин увидел его немолодое потрепанное лицо.

Вернулся довольный Белогнутов.

– За Июнькиным жена приезжала. Творческая интеллигенция – котов сдает для кино-съемок или там если реклама. Вспомнила про мужика, когда говно кошачье выгребать некому стало... Не отдали мужика!.. Да ты все съел! Ну что за парень-молодец! – обрадовался Белогнутов, как добрая няня в детском саду, Царевнину даже показалось, что он его сейчас по голове погладит. – А Июнькин-то какой крепкий – не забоялся бабищи своей, так мол и так, никуда не поеду!

– А он кто?

– Божий одуванчик. Судьба у него была трудная, а теперь здесь. Навсегда. Он в озеро наше влюбленный, не разлучится... Сам тебе про все расскажет, если подружитесь. Ладно. Ложись кочумай. Тебе теперь первое дело – спать. Отхожее место за домом слева, а на крайняк ведро в сенях имеется. Так что спи на здоровье.

– Я не могу спать, – неожиданно для самого себя признался Царевнин. – Боюсь.

– Это что вдруг? Чужие здесь не ходят, а наши мужики хорошие, скоро познакомишься.

– Боюсь, меня бесы утащат, – признался Царевнин.

Это была правда. Однажды ночью, когда не мог уснуть, стонал, ворочался, пытался молиться и давал страшные зароки, из мучительной полудремы явились какие-то отвратительные рожи – то железные, то шерстяные – и говорили: ты наш, всё, ты наш, ты Богу не нужен...

– Придешь утром, а от меня одна одежда осталась. – Царевнину стало жалко себя.

– Это с какого переляку они тебя, дурака, утащат?

– На органы.

– Тю! – засмеялся Белогнутов. – На кой им твои органы, там, поди, от органов труха одна. Царевнину стало обидно за свои органы и еще жалче себя. Чтобы не заплакать, он спросил:

– А как это озеро называется?

– По-всякому. Тут столько разных народов побывало, каждый по-своему звал... А еще береговая линия сильно изрезана, затонов, бухт много, каждому затону отдельное имя дадено. Так-то! А теперь спать. И руки чтоб поверх одеяла, – подмигнул.

«Цирк какой-то, – подумал Царевнин. – Спектакль».

Этот Белогнутов явно не такой валенок. А старается показаться валенком, потому что считает валенком его, Царевнина, ведь Царевнин тоже старается показаться простаком и алкашом из подворотни, для безопасности – чтобы никого не раздражать своими никчемными в этом месте знаниями и «московством». Царевнин знал, что чистый московский выговор и грамотность могут быть опасны для жизни.

Царевнин обрадовался – уже может раздумывать. Эта радость успокоила, она была сильнее тревоги, что кончились пилюли, которые доктор дал в дорогу.

Он легко заснул в тепле и спал хорошо, снилась чушь, но нестрашная: два милиционера, одетые, как раньше, в голубых фуражках, ныряют в озере, ухая и фыркая, а на берегу, на чистой мягкой траве, стоят дети и смеются, и большие меховые собаки тоже улыбаются, машут хвостами.

Утром умывался в сенях ледяной водой – понравилось. Пришел Белогнутов проводить на общую кухню. Царевнин пожал ему руку и сказал:

– Андрей Михайлович, я музыкант из Москвы, со мной на гастролях во Франции запой приключился, подвел я очень, и друзья меня сюда определили, в назидание.

– Починим! – заверил Белогнутов. – У нас тут и доктор имеется. Акушер, правда, но парень во такой! Гриша-акушер. А я из Питера, преподаватель истории и географии. На пенсии, конечно.

– Вы мне скажите, пожалуйста, это мы все где?

– В Огороде, – серьезно сказал педагог. – Это такой Огород.

«Где я?

Ризя! Ты куда меня засунул, Саша-Ума-Катя-Ася? Что это за богадельня? Какой-то, Боря-Лида-Яша-Дима-мягкий знак, санаторий-профилакторий общего режима! Песочница для мальчиков пятьдесят плюс.

По ходу, я тут самый молодой. Детская площадка “Ветеран”. Колхоз “Старый конь”. Турбаза “Лузер”. Дачный поселок “Неудачник”. Огородная артель. Мужской бордель для одиноких баб Нечерноземья. Кстати, это вообще какая область? Никто не знает. То ли Тверская, то ли Смоленская, а то и вовсе Псковская. По номерам машин не поймешь, то одно то другое. Глухой угол.

Эта баба, что собеседование проводила, она кто? Врач? Психолог? Психологов ненавижу! Сестра-хозяйка? С ней как говорить вообще? Ты ей что про меня наплел? Она приезжает, привозит харчи и лекарства, если кому надо. Тут кухня-столовая есть в отдельной избе с большой террасой. Готовим по очереди, когда на печке, когда на плитке, и две микроволновки есть. Еще баня и “салон,” или “штабной вагон,” – пустая изба с большой плазмой. Правда, похоже на детсадовскую дачу, только на стене террасы объявление: “Просьба найденные в лесу боеприпасы на территорию не приносить”. Самый запад, Ризя. Эти края всегда под раздачу попадали. Последние лет пятьсот. В болотах до сих пор самолеты лежат, ржавеют. Мины – эти просто как грибы. Интересные места – для тех, кто понимает. Ризя, вы меня надолго сюда определили? Нет, я не протестую, я просто спрашиваю. Вообще, жить можно. Избушки наши разбросаны по пригоркам, рядом озеро большое, такой загогулиной, как звать, никто точно не знает, тут один чокнутый целыми днями на озере висает, не рыбачит даже, а так... Дружит. Постояльцев сейчас человек десять, я пятерых уже знаю, вроде нормальные, и совсем не все алкаши. Работать не заставляют, только самим себя обслуживать, готовить, стирать, порядок поддерживать, ну и огород. По вечерам кино и настольные игры. Я тебе письмо пишу от руки, потом сфотографирую и при случае, как поднимусь в поселок, на станцию, тебе отправлю на мыло. Там интернет хороший, четыре джи прямо со свистом летает, и вообще – цивилизация, магазины, почта, сбербанк, аптека. Тут красиво и тихо. Чтобы пересидеть, очухаться – самое то. Вот я и пересажу, а там видно будет. Ты платил за меня много? Я верну. А передержка эта? За деньги? Верну всё! Точно, передержка, только вместо собак – мужики. Прости, что так подвел на гастролях. Прости, друг. Наталье передай как-то аккуратно, что я к ней не вернусь и искать меня не надо. Ну давай. На днях отправлю это письмо. Ризя. Ты мне друг, скажи честно. Просрал я свою жизнь? В хлам просрал?

Или еще не совсем?»

Царевнин сфотографировал письмо.

Кончался март, пахло водой, оттаивающей землей, костром, слышалось, что где-то работает пилорама.

Постучавшись, заглянул Белогнутов, протянул два крепких яблока:

– Свои яблочки, наши. Храним грамотно, секрет старинный знаем... Ну что, пойдешь в штабную? Наши «мафию» затевают...



Довольно скоро Царевнин прекрасно освоился, или, как говорят про псов и котов, «прижился», и жалел только, что не может репетировать, упражняться, инструмента нет. Беспокоить Ризю, гонять в такую даль – надо же и совесть иметь когда-то, и так попил уже Ризиной кровушки... Хорошо Июнькину, «ипанату кальция», как называет его мужлан Буйвидас, – уходит в луга, в поля и танцует под свою внутреннюю музыку хоть до упаду.

Июнькин обожал танцевать, с детства прилипал к телевизору, когда передавали балет или народные танцы, ходил в хореографические кружки, а папа его, милицееское начальство в маленьком южном городке, считал, что мужик без погон – не мужик. Папа устроил сына служить в армию не куда попало, а во внутренние войска, зэков охранять. На этом почетном поприще с Июнькиным что-то произошло. «Из армии вернулся головушкой прискорбный. Не то побили, не то секретность какая, – рассказал про него Белогнутов. – А потом еще четыре женитьбы перенес. От этого тоже с головой лучше не становится...» После армии, ко всему прочему, Июнькин утратил способность к деторождению, хоть и сохранил пригодность для супружеской жизни. Это удачное сочетание, а также немногословная кротость привлекали к нему, мелкому, как подросток, крупных, крикливых и властных тетя постарше.

Теперь Июнькин привязался к озеру, смотрел на него, сидел на берегу и что-то ему рассказывал, смеялся и купался с апреля по ноябрь, не простужаясь. А то уходил в луга и танцевал под свой внутренний тамтам.

Парники большие, даже мужлан Буйвидас, самый высокий в Огороде (подобраный хозяйкой на невольничьем рынке возле Мытищ), спокойно стоял во весь рост. Круглый год свежие огурцы, помидоры, перцы – поди плохо! Следили за чистотой и порядком на территории, за печками, дровами и колодцами. Жили мирно, только толстяк Белогнутов и пожилой ловелас Маркович не здоровались и не разговаривали друг с другом. Знойный, с седыми кудрями в синеву, Маркович измерял годы в женах. Никто почему-то не говорил ему, что выражение «три жены тому назад» придумал Воннегут и чтобы он не больно-то важничал.

А если и случались ссоры-споры среди постояльцев Огорода, то исключительно на микологические и ихтиологические темы: какая рыба как называется, какие грибы съедобны, а какие нет.

Ближе к лету в окрестностях появлялись копатели и монетки. Копатели искали в лесу боеприпасы и «поднимали» останки бойцов. Были официальные поисковые отряды и просто любители старого оружия. Монетки шерстили окрестности барских дач, искали старинные монеты. Но копателям со стариной везло больше – говорили, что недавно был найден сборник Гёте 1914 года издания и немецкий солдатский медальон 1941-го. Наверное, какой-то отец благословил своего сына этим сборником с готическим шрифтом. В свободное от огорода и хозяйства время постояльцы присоединялись к копателям или монетчикам, рыбачили, мастерили или предавались своим увлечениям (опальный журналист Мухов обожал реанимировать старые радиоприемники и магнитофоны, а его сосед, контуженый спецназовец Генварёв, любил готовить). Два раза в неделю ходили в баню. Иногда помаленьку выпивали, кому можно. За выпивкой или у костра беседовали, рассказывали, кто как ранился, резался или обжигался, кто откуда падал и как тонул, у кого какой чудила в армии был сержант, у кого какая сука теща... Кто как убегал на машине от гаишников, у кого какая машина в каком году как ломалась... Рассказывали анекдоты и небылицы. Когда анекдоты и небылицы кончались, просто хвастались, ввали или жаловались – про женщин. И всегда все разговоры – после бани, у ночного костра на берегу, на привале в лесу или разбирая старый автомобиль – все разговоры приводили к женщине, устроившей этот запоздалый мальчишеский рай с карасями, щенятами,

кострами и поисками кладов. Кто она? Врач? Изучает их, что ли? Предприниматель? Скучающая богачка? Откуда у нее семь изб, плюс штабная, плюс кухня, плюс баня? Это же какое богатство! А красный «Рэнглер-Рубикон»? Неизвестно. Никто даже толком не знал, как ее зовут. Спецназовец гнал телегу, что она потомок тех испанских детей, которых доброе советское правительство вывезло от фашистов, и что зовут ее по-испански Амор Каритас. Царевнин удивился, почему Белогнутов и журналист Мухов (эти-то двое наверняка знают) не объяснят остальным, что Амор Каритас – благотворительная организация или вообще экспонат в музее, образ и человека так звать не могут.

И сам тоже не стал объяснять.

Всегда спокойная, приветливая, она всех называла «хорошие мои», неважно, обращалась ли ко всем или к кому-то одному. Говорила тихо, поэтому ее и старались услышать. Летом в льняной, расшитой васильками тюбетейке, осенью и зимой – в чем-то вроде хевсурской шапочки, в валенках или резиновых сапожках с хохломскими узорами, так, дачница за рулем красного «рэнглера-рубикона». Никто даже не знал, сколько ей лет. Решили – от сорока до шестидесяти. Бабы сейчас и не такое умеют. У них не поймешь. Примочки там всякие. А она вообще бойкая такая... Царевнину она казалась ровесницей, за сорок, да.

Рассказывали:

что она бросила в доме престарелых умирающего старика-отца;

что она отказала жениху прямо в загсе и он повесился;

что с ней не общается, за что-то обидевшись, единственный сын;

и вот она якобы хочет искупить вину всех баб перед всеми мужиками и устроила этот Огород.

Царевнин понимал, что это фольклор, устное народное творчество.

Следующим сегментом «огородного» фольклора были истории про первых постояльцев. Тут возникали разночтения: одни считали, что первым постояльцем был беглый монах Иероним Отродьев, другие – что немецкий дальнобойщик Фитцнер. «Иероним Отродьев – это уж слишком», – сразу решил Царевнин. Но и про Фитцнера тоже не очень понятно... Якобы немецкий дальнобойщик Фитцнер, боясь проезжать весовой пост на перегруженной фуре, свернул с трассы на грунтовку и прямо под знаком «Осторожно, дикие животные» сбил косулю. Опасаясь, что его «примут» егеря, инспектора или просто равнодушные граждане, Фитцнер не поленился выкопать и зашвырнуть в ближайшее болотце дорожный знак, а сам, тщательно заперев вверенное ему транспортное средство, груженное доверху заграничным дефицитом, взял на руки пораненную косулю и двинулся напролом через лес, надеясь встретить добрую русскую женщину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.